ПОЛИВАЯ НЕНАВИСТЬЮ



ВИКТОР ФИЛИППОВ

18+

Виктор Филиппов

Поливай Ненавистью Денежное дерево

«Автор»
2026

Филиппов В.

Поливай Ненавистью Денежное дерево / В. Филиппов — «Автор», 2026

В центре Москвы выросло дерево. Вместо листьев — пятитысячные купюры.Оно не даёт деньги. Оно их жрёт. Любовь, семью, рассудок, жизнь — у каждого своя цена.Пара, которая нашла его первой — и сожрала друг друга подозрениями. Дворник, который подметал купюры и носил их в детский дом, пока не решил, что заслужил больше. Маньяк, который собирает убийства, как коллекцию. Коллектор, который водит к дереву должников. Юрист, который единственный сумел уйти.Все они — должники. Дерево растёт от злости. Оно уже достигло гигантских масштабов. Оно выше крыш. Оно выше города.Что будет, когда оно дорастёт до неба?

© Филиппов В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 12
Глава 3 15
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Виктор Филиппов
Поливай Ненавистью Денежное дерево

Глава 1

Костя стоял в очереди двести четырнадцатым. Он считал, потому что делать было нечего. Впереди — женщина с авоськой, мужчина с пустым лицом, подросток с телефоном, старик на складном стуле. Очередь двигалась медленно. У дерева каждый брал не больше двух купюр — так было заведено, хотя никто не помнил, кто это завёл.

Костя не хотел сюда идти. Он вообще не хотел ничего. Но Вера сказала: «Сходи. Может, хоть что-то изменится». И он пошёл. Потому что не знал, как сказать ей, что уже ничего не изменится.

Дерево стояло в глубине парка, между двумя облезлыми тополями. Невысокое, корявое, с узловатым стволом, похожим на сжатую в кулак руку. Вместо листьев — пятитысячные купюры. Много. Слишком много для одного дерева. Они шелестели на ветру — не так, как шелестит бумага, а так, как шелестит что-то живое, которое притворяется бумагой.

Старик на складном стуле повернулся к соседу — мужчине в потёртой куртке — и сказал негромко, но так, что Костя услышал:

— Говорят, тут усадьба была. Купец. Денежкин. Взял больше, чем мог вернуть. И не вернул. Не успел — большевики пришли, всё забрали. А долг остался. Долг-то не в бумагах. Долг в земле.

— И что теперь? — спросил мужчина.

— А теперь оно растёт, — сказал старик. — И каждый, кто рвёт, — платит. Только не он платит. Мы.

Костя слушал и думал: какая чушь. Но что-то в словах старика царапнуло. Он не понял что. И не стал думать. Ему надо было стоять.

Костя смотрел на дерево и вспоминал, как они нашли это место.

Тогда они ссорились из-за кофе. Он купил капучино за двести восемьдесят рублей — не потому, что хотел, а потому, что устал. Вера сказала, что это транжирство. Он сказал, что она пилит его, как ржавую пилу. Вера сказала, что он не мужчина, а курьер с амбициями. Он ответил, что она делает ногти чужим людям и не может сделать ногти себе. Оба говорили тихо, почти нежно, тем ровным тоном, которым люди с многолетним стажем наносят друг другу мелкие, но точные удары.

Квартира была съёмной, на окраине, и к концу месяца в ней пахло не жареным луком, а чем-то более простым — тем запахом, который не называют вслух, но который знает каждый, кто хоть раз считал дни до зарплаты.

— Пойдём в парк, — сказал вдруг Костя.

— В парк? В одиннадцать вечера?

— Проветримся.

— Ты хочешь меня там убить?

— Нет. Я хочу там умереть. Но сначала проветриться.

Она надела куртку. В парке было пусто и тихо, фонари мигали, как старые телевизоры, и где-то за деревьями орала сигнализация, на которую никто не реагировал.

Они шли по аллее, когда Вера остановилась.

— Кость. Смотри.

В глубине парка, между двумя облезлыми тополями, стояло дерево. Невысокое, корявое, с узловатым стволом, похожим на сжатую в кулак руку. Вместо листьев на нём висели деньги. Пятитысячные купюры, много, слишком много для одного дерева. Они шелестели на ветру — не так, как шелестит бумага, а так, как шелестит что-то живое, которое притворяется бумагой.

— Это фотошоп, — сказала Вера. — Или мы сошли с ума.

Костя подошёл ближе и протянул руку. Купюра была настоящей. Пахла типографской краской и чужими надеждами. Он сорвал одну. Потом вторую. Потом третью. Вера стояла и смотрела, как он срывает деньги, и в её лице не было ни ужаса, ни восторга — только быстрое, деловое выражение, которое появляется у человека, когда он прикидывает, сколько ещё успеет взять до прихода других.

— Ты чего застыла? — прошипел Костя.

Она начала срывать. Купюры поддавались легко, как переспелые яблоки, и на месте сорванных через секунду набухали новые — бледные, тонкие, будто дерево только что научилось печатать деньги и ещё не набило руку. Они набили карманы, потом пакет, который Вера вытащила из урны, — обычный серый пакет, без логотипов, ничей.

— Сколько тут? — спросила она, когда они отошли на десять метров.

— Тысяч двести. Может, триста.

— Триста тысяч, — повторила Вера. — Кость, мы богаты.

Он обнял её. Она обняла его. Они стояли под фонарём, обсыпанные пятитысячными купюрами, и смеялись, как дети, укравшие торт. В тот момент им казалось, что деньги решают всё. Что любовь — это когда у вас общий пакет с деньгами. Что дерево — это просто дерево.

Дома они пересчитали. Четыреста двадцать тысяч. Костя хотел сразу купить кроссовки. Вера сказала — сначала долг за аренду. Костя сказал — долг подождёт. Вера сказала — кроссовки подождут. Это был первый треск. Тихий, почти неслышный, как лёд под ногами в ноябре.

На следующий день они вернулись. Дерево стояло на месте, и купюры отросли за ночь, как трава после дождя. Костя сфотографировал дерево. Вера выложила фото в соцсети. Лайки посыпались, как монеты в автомате. Комментарии: «Где это?», «Это монтаж?», «Дай адрес, ты чё, жаба?». Костя ответил: «Парк у метро. Приходите, но не всё сразу». Он сам не понял, зачем это написал. Может, хотел быть щедрым. Может, хотел, чтобы кто-то другой тоже пришёл и увидел.

А потом к дереву пришли другие. Сначала десять человек. Потом сто. Потом — очередь, которая тянулась вдоль аллеи и заворачивала за угол. Люди приезжали с сумками, с детьми, с котами. Кто-то приносил раскладные стулья и термосы. Кто-то — просто стоял и смотрел.

Однажды Вера стояла в середине очереди. Было холодно, она замёрзла, но уходить не хотела. Впереди, метрах в десяти, стояла женщина в сером пальто. Молодая, лет тридцати. С коляской. Коляска была большая, тёмная, с поднятым капюшоном — ребёнка не было видно, только край одеяла. Женщина стояла спокойно, смотрела на дерево. А потом посмотрела на коляску. Потом снова на дерево. Потом наклонилась, поправила одеяло, развернулась и пошла к выходу из парка — быстро, не оглядываясь, как будто боялась, что передумает.

Вера смотрела ей вслед. Коляска осталась стоять у входа, между урной и скамейкой. Женщина дошла до дерева, встала в очередь — уже в середину, к кому-то знакомому, кто пропустил её без слов. Через час к коляске подошли двое полицейских. Один наклонился, посмотрел, потом выпрямился и что-то сказал второму. Тот достал рацию. Вера стояла и смотрела. Она хотела что-то сказать — не полицейским, а людям вокруг, — но очередь не говорила. Очередь смотрела. Очередь ждала. Вера тоже посмотрела. И промолчала.

Костя и Вера приходили каждый вечер. Они уже не смеялись. Они считали. Кто больше сорвал. Кто больше потратил. Кто больше лайкнул. Вера выкладывала фото с купюрами, Костя — видео с купюрами. Вера набрала двести тысяч подписчиков, Костя — сто девяносто. Он сказал, что её подписчики — боты. Она сказала, что он завидует. Оба понимали, что это уже не про деньги.

Однажды утром, после особенно злой ссоры — из-за какой-то ерунды, кажется, из-за того, кто последний выносил мусор, — Костя заметил, что денег на дереве стало заметно больше. Не на пару купюр. На треть. Дерево стояло тяжёлое, отягощённое, как будто кто-то невидимый щедро полил его именно их ссорой. Костя хотел сказать Вере, но посмотрел на неё — она уже считала, быстро, одними губами, — и промолчал. Не потому, что испугался.

Просто в тот момент ему показалось, что если он скажет, то придётся что-то решать, а решать он не хотел.

Вера тоже заметила. Но не сказала ему — по той же причине. Они стояли в двух метрах друг от друга, смотрели на дерево и молчали. Между ними уже было что-то, чего не было раньше: не ссора, не усталость, а тихое, аккуратное подозрение, что каждый из них уже готов заплатить чуть больше, чем другой.

С этого дня всё пошло иначе. Они перестали ссориться вслух. Ссоры ушли внутрь, стали тише и опаснее. Костя начал замечать, что Вера слишком долго смотрит в телефон и улыбается не ему. Вера начала замечать, что Костя возвращается позже, чем обычно, и от него пахнет чужими духами — или ей так казалось, но какая разница, если казалось убедительно. Однажды она нашла в его куртке чек из кафе на два кофе. Он сказал, что пил с напарником. Она сказала — с каким ещё напарником. Он сказал — с обычным. Она сказала — я тебе не верю. Он сказал — это твои проблемы.

Ночью он лежал и слушал, как она дышит. Раньше это успокаивало. Теперь раздражало. Он думал: а если она сейчас думает о ком-то другом? А если она уже думала? А если она думает о ком-то другом, пока он думает о ней?

Утром он проверил её телефон. Ничего не нашёл. Но нашёл, что искал, — то самое чувство, после которого уже не помиришься.

Вера тоже проверяла. Тоже ничего не находила. Но каждый раз, когда он задерживался, она представляла его с другой — и эти картинки были ярче, чем всё, что она видела в реальности. Она начала отвечать на сообщения бывшего. Просто так, без злого умысла. Просто чтобы почувствовать, что она ещё кому-то нужна. Костя увидел уведомление. Ничего не сказал. Запомнил.

Дерево тем временем росло. Купюры становились крупнее, потом мельче, потом снова крупнее — как будто оно подстраивалось под их настроение. В дни, когда они молчали, денег было меньше. В дни, когда кто-то из них представлял другого с кем-то ещё, — больше.

Однажды вечером Костя пришёл домой пьяный. Не сильно, но достаточно, чтобы сказать то, что трезвый бы не сказал.

— Я знаю, что ты мне изменяешь, — сказал он.

— Я? — Вера засмеялась. — Это ты мне изменяешь. Я видела, как ты смотришь на эту девку из очереди.

— На какую девку?

— На ту, с рыжими волосами. Ты думал, я не замечаю?

— Я не смотрю на неё.

Она посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

— Смотришь.

— А ты переписываешься с бывшим.

Она не ответила. Просто стояла и смотрела. И это молчание было хуже любого ответа.

— Мы больше не можем так, — сказала она наконец. — Я устала.

— Я тоже, — сказал Костя.

Она пошла в комнату собирать вещи. Он остался на кухне. На столе лежал пакет с деньгами — тот самый, из первой ночи, ещё не разобранный. Вера вошла, чтобы взять свою сумку. Увидела пакет. Остановилась.

Она стояла над ним. Не брала. Просто смотрела. Может, секунду. Может, две. Как на фотографию, которую давно не открывали. Потом взяла сумку. И вышла.

Дверь закрылась тихо, без хлопка.

Костя остался сидеть на кухне. Пакет на столе медленно оседал под собственной тяжестью, из него выбился угол плотной банковской пачки. Костя смотрел на этот угол. Раньше он бы схватил его. Сейчас ему было всё равно, чьи это цифры. В комнате висела её пудра. На кухне — запах остывающего жареного лука из квартиры снизу. Он сидел до тех пор, пока за окном не загудела первая мусоровозка, и только тогда понял, что не дышал всё это время.

Утром он не пошёл в парк. И на следующий день не пошёл. Он вообще перестал выходить из дома. Сначала он говорил себе, что отдыхает. Потом — что болеет. Потом перестал говорить. Он сидел на кухне, пил пиво, потом водку, потом всё, что было в холодильнике, и смотрел в стену. Деньги с дерева лежали в пакете в прихожей. Иногда он брал оттуда пару купюр, шёл в магазин, возвращался и снова садился на кухню.

Через неделю пакет опустел наполовину. Через две — почти весь. Он пил не для того, чтобы забыться. Он пил, потому что это было единственное, что он мог делать с деньгами, не думая о Вере. С каждой бутылкой он чувствовал себя чуть хуже и чуть спокойнее одновременно. Как будто дерево дало ему не деньги, а разрешение — не жить.

Однажды ему позвонили с работы. Старый напарник, Серёга. Сказал, что есть смена, можно выйти завтра. Костя согласился. Положил трубку. Посидел. Потом налил себе ещё. И на следующий день не вышел. И через день тоже. Серёга звонил ещё два раза. Костя не брал. Потом Серёга перестал звонить.

Но однажды утром он всё-таки встал. Оделся. Вышел из дома. Дошёл до парка — медленно, останавливаясь, держась за стены. У забора остановился. Постоял. Посмотрел на дерево. Оно было огромное. Очередь тянулась вдоль аллеи, люди стояли тихо, как на похоронах. Костя

смотрел на них. Потом на дерево. Потом развернулся и пошёл обратно. Он не зашёл. Он не сорвал ни купюры. Он просто не смог. И это было хуже, чем если бы он сорвал.

Через неделю он попробовал снова. На этот раз зашёл. Прошёл через пост, не поздоровавшись с сержантом. Встал в конец очереди. Дождался. Подошёл к дереву. Оно было рядом — впервые так близко. Он протянул руку. Купюры шелестели у самого лица. Пахли типографской краской и чужими надеждами. Он стоял так, наверное, минуту. Потом опустил руку. Развернулся. И пошёл к выходу.

Он не взял. Не потому, что не хотел. Потому что понял: если он возьмёт сейчас — то возьмёт в последний раз. И не потому, что решил бросить. А потому, что после этого он уже не сможет остановиться. И это будет конец. Настоящий. Не тот, где он лежит на диване и думает о Вере. А тот, где он стоит в очереди каждый день и уже не помнит, что было до.

Вера не звонила. Он не звонил тоже. Он знал, что она устроилась. Знал от общих знакомых, от случайных сообщений в соцсетях, от того, как быстро её профиль сменил фотографию. Она жила теперь в элитном доме на набережной — не в съёмной студии на окраине, а в квартире с панорамными окнами, с консьержем, с подземным паркингом. Парня звали Артём, он был из тех, кто не стоит в очередях, потому что у него всё уже есть.

А ещё Вера открыла свой салон. Не угол в съёмной квартире, не кресло на дому — настоящий салон в центре, с вывеской, с администратором, с креслами, которые она выбирала сама. Клиентки записывались за месяц. У неё были мастера. У неё был бизнес.

Однажды в салоне клиентка долго выбирала лак — перебирала флаконы, нюхала, прикладывала к ногтю. Вера ждала. Она ждала, пока Костя сорвёт больше, чем она. Пока он привыкнет. Артём появился раньше, чем Костя узнал о его существовании. Момент Вера выбрала так же, как клиентка выбирала лак: не спеша, но точно.

Она выкладывала фото: завтраки на террасе, цветы в вазах, кофе с пенкой в правильной чашке, а между ними — салон: светлые стены, зеркала, ряд ламп над рабочими местами. Подписи были короткие. Кому отвечать, а кого игнорировать, она решала по утрам, за кофе.

Но однажды утром она стояла на террасе с чашкой кофе и смотрела вниз, на набережную. Там шла пара — молодой парень и девушка. Парень нёс пакет с продуктами, девушка смеялась и что-то говорила ему, запрокинув голову. Они были в дешёвых куртках, и парень, кажется, был курьером. Вера смотрела на них дольше, чем собиралась. Потом отвернулась. Поставила чашку. Пошла заваривать новый кофе.

Иногда ветер приносил запах жареного лука с соседней стройки. Она на секунду хмурилась. Потом шла заваривать новый кофе.

Костя думал об этом каждый вечер, когда открывал очередную бутылку, и каждый вечер думал, что завтра позвонит. Завтра он всегда откладывался.

Через месяц он перестал выходить даже на кухню. Он лежал на диване, смотрел в потолок и слушал, как в подъезде хлопают двери. Иногда ему казалось, что он слышит её шаги. Иногда — что она вот-вот войдёт. Он не вставал проверить. Он знал, что это не она. Она была далеко — в доме с панорамными окнами, где не пахло жареным луком и где никто не считал дни до зарплаты.

Дерево за это время выросло. Костя не видел — он больше не выходил. Но те, кто проходил мимо парка, замечали: оно стало выше, раздалось в стороны, ветки вытянулись вверх — узловатые, слишком длинные для такого ствола. Купюры на нём были крупнее, плотнее, ярче.

Однажды утром Костя проснулся от того, что в дверь звонили. Он не встал. Звонок повторился. Потом ещё раз. Потом в дверь начали стучать. Костя лежал и смотрел в потолок. Он знал, кто это. Он знал, что если он откроет, то придётся что-то решать. А решать он не хотел.

Стук прекратился. В подъезде хлопнула дверь. Костя закрыл глаза. Деньги лежали в прихожей, но от них не было ни тепла, ни тяжести. Просто бумага. Он лежал и слушал, как в соседней квартире кто-то двигает мебель. У него — только ровный гул в ушах и сухость во рту. Завтра он позвонит. Завтра.

Через два квартала от его дома, на террасе с панорамными окнами, Вера пила кофе из правильной чашки и смотрела на реку. Внизу стояла машина, которую ей подарил Артём. Ещё дальше, за поворотом набережной, был салон — сегодня с утра там уже стояла запись на десять человек.

Она поднесла чашку к губам. Керамика была идеальной температуры. За спиной, в квартире, ровно гудел холодильник. Внизу, на набережной, кто-то смеялся. Вера сделала глоток.

Глава 2

Дядя Гриша работал в этом парке тридцать один год. Он помнил, как здесь сажали те самые тополя, которые теперь облезли и стояли, как два старика, забывших, зачем они вышли из дома. Он помнил фонтан, который работал, и карусель, которую разобрали на металл, и голубей, которых было так много, что они садились на голову, если стоять долго. Он помнил парк до того, как в нём появилось дерево с деньгами. Он жалел о том времени.

Дядя Гриша не рвал купюры. Он их подметал.

Каждую ночь, когда толпа расходилась — а расходилась она неохотно, с руганью, с драками, с попытками унести с собой ветку, — он выходил на аллею с метлой и совком. Дерево роняло деньги, как осенние листья: тихо, щедро, без сожаления. Купюры лежали на асфальте, в лужах, в урнах, запутавшись в траве. Дядя Гриша собирал их в чёрный мешок, аккуратно, не спеша, будто собирал мусор. Потом садился на скамейку, разглаживал каждую купюру о колено и складывал в стопку.

В первую ночь он собрал тысяч сорок. Во вторую — тридцать. В третью — двадцать. Дерево роняло всё меньше, будто скупилось. Дядя Гриша не понимал почему. Он же не делал ничего плохого. Он просто подметал.

Утром он относил деньги в детский дом на соседней улице. Не в благотворительный фонд, не в церковь, не в ящик для пожертвований — а лично, в руки директрисе, женщине с усталым лицом и привычкой не задавать лишних вопросов. Она брала мешок, говорила «спасибо», и дядя Гриша уходил. Он никогда не смотрел, как дети радуются. Ему казалось, что если он посмотрит, то деньги перестанут быть просто бумагой, а станут чем-то, что можно потерять.

На четвёртую ночь он собрал восемь тысяч. На пятую — три. Дерево стояло спокойное, зелёное, сытое, и роняло купюры ровно столько, чтобы хватило на пакет кефира и батон. Дядя Гриша подметал аллею и чувствовал, как в нём поднимается что-то старое, незнакомое, чего он давно не испытывал. Обида. Не на дерево. На себя. Он тридцать один год подметал этот парк, тридцать один год убирал за людьми, которые плевали, мусорили, рвали, дрались, бросали коляски, бросали котов, бросали друг друга. И вот теперь какое-то дерево решает, сколько ему дать. Дерево. Корявое. С купюрами вместо листьев.

Он выругался. Тихо, в пустоту, ни на кого конкретно. Просто чтобы вышло.

Дерево шевельнулось. Купюры на ветках набухли, стали плотнее, ярче. Дядя Гриша посмотрел на них, потом на метлу, потом снова на купюры. Он не поверил. Он подумал, что показалось. Но на следующую ночь он собрал сорок тысяч. Весь вечер он злился — на мужчину в пальто, который приходил и предлагал «крышу», на молодых, которые снимали видео и смеялись, на бабку, которая пыталась унести ветку в авоське, — и купюры летели на асфальт, как осенние листья, много, щедро, без сожаления.

Он отнёс деньги в детский дом. Директриса сказала «спасибо». И дядя Гриша почувствовал, как в нём что-то перевернулось.

Он попробовал быть добрым. Специально. Улыбался прохожим. Говорил «доброе утро». Помог женщине донести коляску. В ту ночь он собрал две тысячи. Две тысячи рублей за целый день доброты. Он посмотрел на эти деньги, потом на мешок, в котором вчера было сорок, и ничего не сказал. Просто сложил купюры вдвое и убрал в карман.

Тогда он начал злиться специально. Вспоминал всё, что его бесило: как в девяносто восьмом ему не заплатили за три месяца, как его жена ушла к человеку с машиной, как в две тысячи двенадцатом парк хотели отдать под торговый центр, а он писал письма и никто не отвечал. Он вспоминал и подметал. Купюры летели. Он собирал их в мешок и нёс в детский дом. Директриса сказала «спасибо», и он впервые за долгое время почувствовал, что делает что-то важное.

Через месяц он стал другим человеком. Он уже не здоровался с прохожими. Он смотрел на людей так, как смотрят на мусор, — оценивающе, без злости, но и без жалости.

В одну из ночей он собрал сорок тысяч, разгладил купюры, сложил в стопку — и вдруг подумал: а зачем? Он посмотрел на мешок. Потом на свои ботинки, стоптанные, с отклеившейся подошвой. Потом на свою куртку, которую он носил двенадцать лет. Потом на дерево. Дерево шелестело.

В ту ночь он не пошёл в детский дом. Он пошёл домой. Квартира встретила его запахом старой проводки и холодной воды. Он вывалил деньги на кухонный стол. Сорок тысяч. Он сидел перед ними минут десять, не трогая. Потом отсчитал девять. Пошёл в прихожую, обулся в старые стоптанные ботинки, дошёл до магазина и купил новые. Кожаные. Дорогие.

Вернувшись, он поставил коробку на пол. Снял старые ботинки, бросил их в угол. Достал новые. Они пахли химией и чужим достатком. Он попытался их надеть. Узкий носок впился в пальцы. Дядя Гриша сел на табурет и долго сидел так, глядя на свои старые ботинки в углу. Он подумал, что завтра обязательно отнесёт остальные деньги в детский дом. Завтра. Обязательно. Он оставил коробку на столе, лёг на диван и впервые за много лет уснул, не слыша скрипа паркета за стеной — своего единственного ночного собеседника.

Через неделю он собрал уже сто тысяч. В детский дом отнёс пятьдесят. Остальное — в банку из-под кофе, которую спрятал за шкаф. Через две недели — сто пятьдесят. В детский дом отнёс тридцать. Банка не вмещала. Он купил вторую. Потом третью.

Директриса сначала ничего не замечала. Потом начала спрашивать. Он говорил, что дерево стало меньше ронять. Что люди стали меньше злиться. Что, наверное, всё к лучшему. Она кивала и говорила «спасибо» — уже без радости, а с той вежливой усталостью, с которой люди говорят «спасибо», когда их обманывают, но они ещё не хотят в это верить. Однажды она задержала его руку с мешком. «Григорий, — сказала она тихо. — В прошлый раз дети спрашивали, почему на новые матрасы не хватило. Я не знала, что им ответить». Дядя Гриша посмотрел на её усталое лицо и впервые не смог выдавить из себя привычную злость. Он просто молча забрал мешок и ушёл.

А дядя Гриша уже не злился на людей специально. Ему больше не нужно было. Он злился на них естественно, постоянно, как дышал. Он смотрел на очередь у дерева и ненавидел каждого, кто протягивал руку к купюрам. Это его купюры. Это его дерево. Он здесь тридцать один год. Он здесь был до них всех. Он здесь будет после.

Однажды ночью, подметая аллею, он нашёл серый пакет без логотипов — ничей, из тех, что выдают на кассе, когда забыл свою сумку. Внутри лежала пачка пятитысячных, перетянутая аптечной резинкой. Дядя Гриша не стал разглядывать, чей. Просто вытряхнул в мешок.

В другую ночь к нему подошёл мужчина в дорогом пальто. Тот самый. Он курил и смотрел на дерево так, как смотрят на бизнес-партнёра, который пока не знает, что его собираются кинуть.

— Слышь, дед, — сказал мужчина. — Ты чё с деньгами делаешь?

— Подметаю, — сказал дядя Гриша.

— А потом?

— Потом моё дело.

Мужчина засмеялся. Не зло, а как-то устало, будто услышал плохую шутку от человека, который не понимает, что шутка плохая.

— Слушай, дед. Я тебе серьёзно говорю. Тут такие деньги. Ты понимаешь, что это? Это же золото. Это нефть. Это газ. Ты понимаешь, сколько людей за такое убивают?

— Понимаю, — сказал дядя Гриша. — Поэтому и не отдам.

Мужчина посмотрел на него внимательно. Потом кивнул, будто что-то для себя решил, и ушёл. А дядя Гриша остался стоять с метлой. В нём было столько злости, что дерево за ночь стало выше — заметно выше, чем вчера. Купюр на нём было больше, чем когда-либо. Дядя Гриша подметал их до утра, складывал в мешок и думал о том, что завтра надо не забыть термос. Термос был старый, с отбитой эмалью.

Старухи во дворе говорили, что раньше тут усадьба была. Купец. Денежкин. Дядя Гриша не верил, но фамилию запомнил — смешная. Одни говорили, что купец сбежал с деньгами. Другие — что его разорили большевики и он не успел вернуть долг. Третьи — что он повесился в саду, а дерево выросло на его могиле. Дядя Гриша не слушал. Ему надо было подметать.

Утром он не пошёл в детский дом. Он пошёл в банк. Потом в магазин. Потом домой. Квартира была маленькой, но ему хватало. Ему давно хватало. Просто раньше он думал, что не хватает. Новые ботинки стояли в коробке. Он так и не смог их разносить — нога всё ещё ныла.

Дерево стояло в парке и росло. Оно больше не нуждалось в толпе. По ночам ветки тянулись к окну его квартиры на втором этаже, заслоняя луну, а корни уже начали поднимать старый асфальт у самого бордюра, пуская трещины в сторону водосточной трубы. Купюры на ветках были крупные, плотные, ни одной бледной.

Глава 3

Его звали Игорь. Он стоял в очереди четыреста двенадцатым — считал, потому что делать больше было нечего. Впереди были женщины с полиэтиленовыми торбами, мужчины с пустыми, как у размороженной рыбы, глазами, подростки с мёртвым светом экранов, старик на складном стуле, который не мог стоять и дышал в целлофановый пакет. Очередь двигалась со скоростью остывающей лавы: у дерева каждый брал не больше двух купюр, прижав их к груди, чтобы не потерять сознание от запаха типографской краски и озона. Это правило завёл не человек. Люди приняли его как закон тяготения.

Игорь работал в отделе закупок. Тридцать четыре года, разведён, без детей, аллергия на цитрусовые. В очереди он был невидимкой: серое пальто из переработанного пластика, серые глаза, серый голос, который не оставлял эха. Люди забывали о нём ещё до того, как он заканчивал фразу.

Перед ним стояла девушка. Лет двадцати пяти, в дутой куртке не по размеру. Она нервничала, оглядывалась на выход, поправляла прядь волос за ухо каждые сорок секунд — Игорь считал.

— Не волнуйтесь, — сказал он, повернувшись ровно на нужный градус, чтобы попасть в её поле зрения. — Я здесь с самого утра. Дерево любит терпеливых.

Она улыбнулась, обнажив дёсны. Он достал термос.

— Кофе? Чтобы согреться. У меня хороший, арабика.

Она выпила. Через двадцать минут её начало клонить в сон. Через сорок — она сползла по его плечу на асфальт, и изо рта пошла белая пена. Игорь аккуратно опустил её голову, чтобы она не ударилась о плитку, и остался стоять на месте. В кофе был не яд. В кофе был антифриз из автомагазина на окраине. Сладковатый, химический, почти неразличимый за вкусом пережжённой арабики. Девушка умерла в реанимации через шесть часов от отказа почек. В новостях сказали: отравление суррогатным алкоголем. Очередь у дерева на следующий день стала гуще.

Утром Игорь пришёл на аллею и остановился. Дерево стало выше — на человеческую ладонь, не больше. Но под ним, на том самом месте, где она упала, асфальт был мокрый и тёмный, и из трещины торчал корень, толстый, блестящий, будто его вымыли изнутри. На коре, у самого основания, налипла тонкая бурая плёнка. Игорь присел, потрогал пальцем. Плёнка была липкая и пахла железом. Он вытер палец о штанину и пошёл домой.

Второй была женщина в толпе. Она толкнула его плечом, когда объявили, что дерево сегодня «плодоносит». Не специально, просто инерция. Но Игорь запомнил её лицо: родинка на шее, дешёвая золотая цепочка. Через неделю он снова увидел её в очереди. Она стояла в первом десятке, почти у ограждения, и счастливо, по-детски смеялась. Игорь подошёл сзади, примерился к её центру тяжести и ударил основанием ладони точно между лопаток. Не сильно — ровно настолько, чтобы сместить вектор движения. Она упала на асфальт, ударившись виском о чугунный бордюр. Звук был сухой, как треск грецкого ореха. Толпа даже не заметила:

все смотрели на ветки. Скорая приехала через двадцать минут. Полиция составила протокол: асфиксия в результате давки, несчастный случай.

Наутро под чугунным бордюром земля вспучилась. Из-под асфальта выступила тёмная, густая влага, и в ней плавали мелкие бурые хлопья. Игорь стоял и смотрел, как они медленно впитываются обратно в корень. Потом достал блокнот и записал: «Второй. Сухо. Ладонь. Кора набухла».

Третьим был старик со складным стулом. Игорь подошёл к нему и сказал, что администрация разрешила пропустить пенсионеров вне очереди — просто так, по-человечески, пока никто не видит. Старик обрадовался, его жёлтые пальцы вцепились в рукав Игоря. Они пошли вместе. У самого мокрого, скользкого от утреннего конденсата корня Игорь отпустил рукав и сделал шаг в сторону. Старик поскользнулся, упал плашмя, ударившись затылком. Никто не видел помощи. Все видели, как старик не удержал равновесия. Он умер в больнице через два дня от субдуральной гематомы. В газетах написали: «Пенсионер погиб у денежного дерева, поскользнувшись на влажной листве».

Той ночью Игорь вернулся в парк. Он не собирался ничего делать — просто пришёл посмотреть. Под фонарём, у самого ствола, асфальт был разворочен, и из-под него торчали корни, толстые, узловатые, как сжатые кулаки. Они были влажные. На них, в свете фонаря, блестели капли. Игорь присел и увидел, как из трещины медленно, будто нехотя, выползает новая купюра — не бледная, как обычно, а плотная, тяжёлая, с едва заметными бурыми прожилками по краю. Он взял её. На пальцах осталось что-то липкое, солоноватое на вкус. Он вытер руку о пальто и ушёл.

Дерево поднялось ещё. Его корни начали взламывать плитку аллеи.

А потом случилось то, чего не было в его блокноте. Пятая выжила.

Это была женщина лет сорока, в старомодном красном пальто — цвет дешёвого дерматина и пожарной машины, с лицом человека, который привык, что его не замечают, и научился от этого получать удовольствие. Игорь подошёл к ней в очереди. Предложил кофе из того же термоса. Доза антифриза была выверена идеально, с поправкой на массу тела и процент жировой ткани. Он сам добавил в её стаканчик кубик рафинада — сахар ускоряет всасывание.

Она выпила.

Игорь ждал.

Через двадцать минут она побледнела. Но не упала. Её зрачки не поплыли. Она издала странный горловой звук, похожий на смех, вцепилась пальцами в металлический забор, потом — в кору дерева, потом — в чью-то случайную руку в толпе, и не отпускала. Она не боролась со смертью, она просто отказалась разжимать пальцы. Кто-то вызвал скорую. Врачи приехали через восемь минут. Её погрузили на носилки. Она всё ещё смотрела на Игоря, и в её глазах не было страха. Было чистое, академическое любопытство.

Её привезли в больницу с желтухой, запахом ацетона и руками, которые никак не хотели разжиматься. Врач в приёмном покое долго смотрел на её анализы, потом на неё, потом снова на анализы. Печёночные пробы были превышены в десять раз. Селезёнка увеличена. В ана-

мнезе — двадцать лет дешёвой водки. Её организм, годами расщеплявший яд, просто не заметил новой дозы.

Игорь узнал, что её выписали, через неделю. Женщина пришла в парк. Бледная, худая, с желтизной на склерах, но живая. Она встала в самый конец очереди. Игорь подошёл к ней, встав так, чтобы закрыть ей солнце.

— Я вас помню, — сказала она. Голос был сиплым, но чистым.

Он не ответил.

— Вы мне кофе давали, — продолжила она, глядя на его переносицу. — Я тогда подумала, что вы добрый. А потом, в реанимации, когда меня откапывали, я подумала, что вы очень аккуратный. Слишком аккуратный для доброго.

Игорь смотрел на неё. Она не боялась. Она знала его лицо. Она знала, что он сделал. И это было хуже, чем если бы она кричала и звала полицию. Крик — это шум. А знание — это тишина.

Он отошёл. Он не тронул её. Не потому, что боялся следов. А потому что впервые за всё время почувствовал, как дрогнула его собственная, идеально выстроенная оптика. Дерево росло, но теперь оно росло вбок, его ветви скрючились, как пальцы.

Он вернулся домой. Открыл блокнот. На странице с третьей жертвой, где был нарисован график напряжения, он написал: «Она выжила. Метод: органическая аномалия». Потом вырвал страницу, скомкал и проглотил. Бумага была сладковатой.

Он убивал ещё. Но каждый раз, когда он подходил к дереву, чтобы собрать свой урожай — теперь он брал купюры, пачкая пальцы в липком древесном соке, пахнущем железом, — он искал взглядом красное пятно в конце очереди.

Она стояла там. Она не подходила к нему. Она просто стояла. И смотрела. И с каждым днём её жёлтое, больное лицо становилось всё спокойнее, а его руки, пересчитывающие деньги, начинали мелко дрожать.

А однажды ночью он проснулся от того, что в комнате пахло железом. Он лежал на диване, не включая свет. За окном, на втором этаже, было тихо. Потом тихо стало и в комнате. Он повернул голову.

В окно смотрела ветка. Она была не такая, как днём, — не тонкая, не скрюченная. Она была толстая, влажная, и на её конце, у самого стекла, висела купюра. Плотная, тяжёлая, с бурыми прожилками. Ветра не было. Купюра не шевелилась. Ветка тоже.

Игорь лежал и смотрел на неё. Он думал о том, что надо встать, подойти к окну, задёрнуть штору. Он даже приподнялся на локте. Но тут купюра у стекла медленно повернулась — так, будто её разглядывали, с другой стороны, — и ветка, мягко, без скрипа, убралась обратно в темноту.

Утром он вышел на аллею. Дерево наклонилось. Всего на несколько градусов, но заметно. Оно клонилось в сторону выхода из парка — туда, где стояла женщина в красном пальто. Игорь посмотрел на неё. Она посмотрела на него.

Ветер стих. Купюры на ветках замерли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.